

ЗАХАР

ПРИЛЕПИН

ИСТОРИИ ИЗ ЛЁГКОЙ
И МГНОВЕННОЙ ЖИЗНИ



Захар Прилепин. Публицистика

Захар Прилепин
**Истории из лёгкой и
мгновенной жизни**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Прилепин З.

Истории из лёгкой и мгновенной жизни / З. Прилепин —
«Издательство АСТ», 2019 — (Захар Прилепин. Публицистика)

ISBN 978-5-17-119567-0

«Эта книжка – по большей части про меня самого. В последние годы сформировался определённый жанр разговора и, более того, конфликта, – его форма: вопросы без ответов. Вопросы в форме утверждения. Например: да кто ты такой? Да что ты можешь знать? Да где ты был? Да что ты видел? Мне порой разные досужие люди задают эти вопросы. Пришло время подробно на них ответить. Кто я такой. Что я знаю. Где я был. Что я видел. Как в той, позабытой уже, детской книжке, которую я читал своим детям. Заодно здесь и о детях тоже. И о прочей родне. О том, как я отношусь к самым важным вещам. И какие вещи считаю самыми важными. И о том, насколько я сам мал – на фоне этих вещей. В итоге книга, которая вроде бы обо мне самом, – на самом деле о чём угодно, кроме меня. О Родине. О революции. О литературе. О том, что причиняет мне боль. О том, что дарует мне радость. В общем, давайте знакомиться. У меня тоже есть вопросы к вам. Я задам их в этой книжке». Захар Прилепин

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-119567-0

© Прилепин З., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Первые деньги, последняя строчка	6
Не проси, а то дадут	9
Несколько неважных слов в течение дня	12
Хождение по счастью	15
Всё сбылось	18
Город Горемыка, дзержинская птица и прочие псевдонимы	29
Ополченец, монах и некоторые другие	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Захар Прилепин

Истории из лёгкой и мгновенной жизни

© Захар Прилепин

© ООО «Издательство АСТ»

Первые деньги, последняя строчка

Я учился в школе и писал стихи. За окном наблюдалась перестройка.

Перестройку я запомнил, как непрестанную осень: словно природная и умственная слякоть объяла всё. Люди бегут по леденеющим лужам, взбивая грязный, отвратительный снег. Ужасно болит голова: от шума, от гама, от топота, от грохота, от всего сущего.

Моя семья жила в хрущёвке, на пятом этаже, где за вечно закрытыми шторами, обложенный книжками стихов и виниловыми пластинками, обитал я.

Читал и слушал, слушал и читал.

К отцу приходили друзья – я помню то странное и удивительное время, когда советские люди заходили друг к другу без звонка, и даже не по причине наличия бутылки того или иного напитка, а просто в силу желания поговорить, поспорить, поделиться новостями.

Как минимум трём отцовским друзьям я пел под гитару песни – Башлачёва, Летова, Гребенщикова, Кинчева и свои. В 1989 году люди отцовского – первого послевоенного – поколения таких песен знать не знали. Им странным образом нравилось. Они выпивали – я в этом не участвовал – и снова звали меня: а спой.

Я с удовольствием пел. Хотя не очень умел.

Но стихи у меня получались ничего так. Я мечтал стать поэтом.

Тогда ещё существовала такая профессия – «поэт». Поэты были элитой. В газетах и журналах за одну публикацию им платили месячную зарплату рабочего. Книжки даже самых средних поэтов раскупались. Книжки поэтических звёзд – а их было на страну десятка два-три – продавались теми тиражами, которыми сегодня продаются здесь «50 оттенков серого», а то и бóльшими.

Поэтом я хотел быть вовсе не по причине тиражей и не из детской зависти к оглушительной славе какого-нибудь Евтушенко, – а просто меня больше ничего так не интересовало, как поэзия, как музыка, как сочетания слов, которые вдруг дают поразительный или поражающий эффект.

Короче, как-то раз, без моего ведома, один из отцовских товарищей взял несколько моих стихотворений и передал редактору одной местной газеты.

Вернулся я из школы, а меня этот самый отцовский друг встречает у дома, счастливый донельзя: «Поздравляю с первой публикацией!»

Не знаю, как сейчас люди воспринимают первую публикацию, – а тогда это было что-то из области недостижимого: увидеть свои буквы, свои слова – пропечатанными.

Сам статус не только книги, не только журнала, но даже газеты – был феноменально высок.

Вспомните, что Владимир Семёнович Высоцкий, собиравший стадионы на своих концертах, сыгравший в тридцати фильмах, работавший в самом популярном театре на Таганке, имевший второй на весь СССР «Мерседес» (первый был у Брежнева, а третьего не было ни у кого), женатый на французской актрисе, имевший возможность выезжать и выступать за границы, – этот самый Высоцкий всю жизнь горевал, что его стихи не публикует советская пресса.

Какие-то, тьфу, газетки! Какие-то, боги мои боги, нелепые, бумажные журналы! Что это вообще – на фоне его небывалой, аномальной, невозможной, немыслимой, аналогов не имеющей славы и удачливости? Вообще ничего! И, тем не менее, горевал.

Советская власть приучила людей верить в необычайную силу печатного слова.

(Постсоветская, забегая вперёд, вообще разучила верить в печатное слово, – и это, увы, тоже достижение.)

Но я ничего такого в пятнадцатилетнем возрасте даже предположить не мог, и пришёл от новости в полный восторг.

Мои! Стихи! В газете!

Вида, конечно, не подал – но внутренне был преисполнен ликования.

По осенней слякоти мы сначала ехали в какой-то недалёкий городок на рейсовом автобусе, а потом шли пешком.

Я даже забыл название этого городка, вот ведь.

В редакции я сразу увидел эту газету, и стремительно нашёл свои стихи: верней, одно.

И тут же, естественно, прочитал.

И сразу пришёл в ужас: там было вырезано последнее четверостишие – и вместо моих строк кто-то – видимо, редактор – сочинил другой финал.

Отцовский друг смотрел на меня, улыбаясь; я с трудом сдержался, чтоб не заорать от бешенства и не разорвать газету в клочки.

Редактора на месте не было, и отцовский друг ушёл его искать. Я вышел из журналистской комнатки, и присел в коридоре, спиной к стене.

Закусив губу, я завязывал развязавшиеся и пропитанные грязной влагой шнурки.

Внутри у меня саднила бешеная обида, что со мной так поступили. Они переписали мои стихи. Как они посмели!

По сей день это чувство не истаяло во мне.

Если я однажды приду домой, и увижу, что вор роется в моих чемоданах, – я не испытаю подобного бешенства. Ну, подумаешь, вор. Может, у него жизнь тяжёлая.

У меня однажды своровали машину из гаража – не застрахованную – то есть, пропажа была невозполнимой; но я точно помню, что это огорчило меня куда меньше, чем финальное, подшитое к моей голой коже, четверостишие.

Я всё ещё сидел у стены и ковырялся в шнурках, – кажется, они ещё и оборвались, и потому никак не завязывались, – когда подошёл приветливый редактор и подал мне руку.

Помню, что я протянул ему руку, не вставая. Жест этот с моей стороны носил явно хамоватый характер, и у меня было время об этом догадаться, – но я нарочно не встал.

Рука моя была мокрая и чуть грязная – от песка, налипшего на шнурки.

Сидеть дальше, впрочем, не имело смысла, и я пошёл вослед за редактором в его кабинет.

Мои ботинки оставляли ужасные, грязные следы. Они обладали уникальной способностью накапливать в себе множество воды и потом расходовать её в течение нескольких часов на любых сухих и вымытых поверхностях. Такие ботинки нужно выдавать солдатам – вместо фляжек. Думаю, один такой ботинок даёт чайник воды. Два ботинка – два чайника.

Я топтался в кабинете редактора и время от времени поводил ногами, мстительно оставляя разводы вокруг себя. Мой приход должен был потребовать впоследствии генеральной уборки.

Редактор – мужик лет сорока пяти – сразу обо всём догадался, и сказал мне с чуть снисходительной улыбкой, что моя образность ему нравится, но она чрезмерна, – здесь он на память процитировал есенинские строки про избу, жующую челюстью порога мякиш тишины.

Он мне намекнул, что Есенин мог позволить себе такие штуки, а мне ещё рано, мне надо попроще себя вести.

«Ну, не настолько же попроще!» – подумал я возразить, но не стал. Финальной строкой моего стихотворения – вместо придуманной мной строки, – теперь была вот эта, цитирую: «Жизнь без веры, что дом без окна».

Чтодомбезокна, чтодомбезокна, чтодомбезокна – повторял я эту патетичную банальность, как самое гадкое ругательство. Мне хотелось плакать: теперь все прочитают эти стихи и подумают, что я банальный тип, а никакой не поэт.

Отцовский друг, впрочем, ничего так и не заметил.

Мы взяли несколько номеров газеты и поехали обратно.

Гонорар мне пришёл через неделю или полторы. Он был вполне себе весомый – на него можно было бы купить литров шесть-семь разливного пива. Гонорар составлял, кажется, одну десятую от отцовской учительской зарплаты.

Отец сказал матери: видишь, ему пятнадцать лет, а он заработал свои первые деньги. Отец был горд.

Газеты эти я выбросил сразу. Надеюсь, что весь тираж того номера исчез безвозвратно.

С тех пор я работал грузчиком, могильщиком, постовым милиционером, командиром отделения ОМОН, журналистом, рекламным агентом и креативным редактором в рекламном агентстве, потом был военным, потом – советником главы одного государства, и снова военным, я снимался в кино, я сочинял музыку, я много чем занимался.

Но, положив руку на сердце, я хочу сказать, что больше всего, как и прежде, я люблю поэзию, и хочу, чтоб платили мне именно за это: за стихи, за романы, за рассказы. За написанное мной.

Только не переделывайте последнюю строку, пожалуйста.

Возможно, в последней строке было что-то очень важное.

Стихи те я утерял. А саму строку забыл. Кто теперь мне её подскажет.

Не проси, а то дадут

Помните – если вы, конечно, помните, – в советской школе были в ходу опросники. Как правило, девочки этим занимались.

Бралась толстая тетрадка в клеточку, и там фломастерами на каждой примерно пятой странице большими буквами записывались вопросы.

Тетрадку пускали по партам, чтоб желающие отвечали.

Твой любимый фильм, твой любимый вид спорта, твоя любимая книга, твой любимый школьный предмет, и – ради чего всё и затевалось – нравится ли вам какая-нибудь девочка в нашей школе?

Был в числе прочих и такой вопрос, – это к нему я так издалека веду, – кем бы ты хотел стать после школы?

Помню, в классе, кажется, седьмом отвечал я на такой опросник.

Грамотно обошёл все углы, которые могли сослужить мне в коллективе дурную службу, никаких девочек не назвал, – хотя она была, – но на вопрос «Кем ты хочешь быть после школы?» – вдруг, совершенно неожиданно сам для себя – накатал целый список: поэтом, писателем, публицистом, артистом театра, кино, – и ещё там что-то было, – запомнил, что именно.

Никаких книг я в седьмом классе не писал, сколько-нибудь заметных признаков врожденного артистизма не проявлял, что означает слово «публицист», вообще понимал туманно; как, впрочем, и сейчас.

Одноклассники дружно посчитали, что я валяю дурака. В том числе и потому, что на вопрос о любимой девушке я вписал завуча – крупногабаритную даму одесских кровей, в раздел «Любимая книга» – школьный журнал, а в графу «Любимый предмет в школе» – длинную перемену.

После школы я не пошёл ни во ВГИК, ни в Литинститут.

Ни актёром, ни писателем я быть больше не хотел.

Когда настала пора выбирать профессию, пошёл я в омовцы.

Служил я достаточно долго, чтоб забыть про написанное в опроснике навсегда.

Дальше свою жизнь я пересказывать не буду, а то увлекусь.

Скажу только, что жизнь моя ходила кругами, только с каждым кругом брала всё шире.

Стоило ли городить весь этот огород – учиться в университетах, прочесть несколько тысяч книг, мотаться по миру, – чтобы спустя двадцать лет вновь оказаться в том же качестве, что и в юности: в какой-то момент я переоделся в хаки и вновь стал человеком с ружьём.

Офицером армии одной непризнанной республики.

Но однажды вдруг пришло мне письмо: Захар, так, мол, и так, не хотите ли сыграть в спектакле?

Сложно, говорю, сыграть мне в спектакле, потому что где спектакль – и где я. Долго это всё и nervozatratno. К тому же у меня память плохая и я роль выучить не смогу.

Нет, говорят, мы быстро всё обустроим, нам только один день нужен, а спектакль такой, что вы просто будете ходить с места на место, и текста у вас совсем мало. Тем более что мы первый показ устроим прямо там, где вы сейчас живёте и служите, говорят мне.

Ладно, говорю, приезжайте.

Репетировать мне было некогда, на спектакль я приехал прямо с позиций, и разобрался, что к чему, буквально за час до показа.

Во время самого спектакля ко мне приставили специального человека, который вытаскивал меня на сцену в нужный момент, а потом знаками звал обратно, даже если я не хотел уходить.

Зрителям понравилось: в финале они аплодировали стоя и подарили мне цветов больше, чем всем остальным участникам спектакля вместе взятым.

Так я стал театральным артистом.

А следом приходит ещё одно письмо: Захар, так, мол, и так, хотим снять вас в фильме.

Сложно, говорю, снять меня в фильме, потому что где фильм – и где я. Долго это всё и нервозатратно.

Нет, говорят, мы быстро, нам только два дня нужно, фильм документальный, вы просто будете ходить с места на место, а текст мы потом наложим сверху и даже прочитаем его сами.

Ну, ладно, говорю, называйте вашу цену. Назвали они свою цену, и я вылетел к ним.

О смысле и сюжете этого фильма я узнал непосредственно на месте, за пятнадцать минут до съёмок, сценарий читать не стал, просто попросил: вы говорите, куда мне идти и где останавливаться.

Они так и сделали: включают камеру и приказывают: иди туда! Стой! Смотри! Разворачивайся! Иди обратно!

Увлекательная, между прочим, работа. Главное, не упасть.

За два дня мы проехали сквозь Чечню и Дагестан.

Жена моя пишет смску: ты в Донецке?

«Нет, – пишу ей. – Еду из Грозного в Махачкалу».

Она говорит: ну да, по местам боевой славы отправился – скоро, милый муж, в России мест не останется, где ты не шлялся бы с автоматом наперевес.

В общем, походил я туда, походил сюда, побродил по любимому Пятигорску, купил магнитик с изображением Лермонтова, выпил нарзану и улетел назад, к своему батальону.

Так я попал в документалистику.

И вновь приходит письмо: Захар, так, мол, и так, хотим снять вас в кино.

Сложно, говорю, снять меня в кино, потому что где кино – и где я. Долго это всё и нервозатратно.

Нет, говорят, мы быстро, нам только два дня нужно, кино хоть и художественное, и роль у вас главная, но мы всё остальное снимем без вас, а вы просто будете ходить с места на место, и реплик у вас очень мало.

Ну, ладно, говорю, присылайте сценарий, буду в роль вживаться. Прислали мне сценарий, оказалось, что по сюжету я играю офицера армии Донецкой Народной Республики.

Жена мне пишет смску: чем ты там на этот раз занимаешься?

Пишу: вживаюсь в роль офицера армии Донецкой Народной Республики.

Она мне: ты год уже служишь, сколько можно вживаться.

Нет, говорю, это для кино надо.

Она мне только и написала: «Женя, Женя».

Потому что по паспорту я Евгений. Захар – это мой позывной, который стал литературным псевдонимом, а потом снова позывным.

Встретились мы со съёмочной группой, их было сто человек, и все они бегали вокруг с разными звуковыми, осветительными и ослепительными приборами.

Ко мне приставили сразу двух девушек, которые всё время носили мне чай, кофе и соки, что твои ординарцы.

Работали мы с восьми утра до полуночи, каждую сцену играли – для того, чтоб снять её с пяти разных ракурсов, – по десять раз.

Работу эту я возненавидел уже в первый день, тем более что я был невыспавшийся и усталый, и очень переживал о том, как там мой батальон без меня.

В итоге режиссёр мне шёпотом сказал: как прекрасно, что я такой невыспавшийся, уставший и злой, потому что именно это и было нужно ему в кадре.

Все были рады тому, какой я прекрасный артист и как я мощно вживаюсь в роль. Мне очень помогало то, что по сюжету я пользовался телефоном, – вот я им и пользовался, переписываясь со своим начальником штаба, который рассказывал мне, какой у нас кошмар творится с батальоном.

Далее по сюжету я ездил туда-сюда на разбитом и простреленном «уазике», с автоматом и в разгрузке, время от времени принося те или иные неприятности людям, которые делали то же самое, но с другой стороны позиций.

Отснявшись в фильме, я вернулся в своё подразделение, надел разгрузку, взял автомат, ну и далее по сюжету.

Когда люди меня спрашивают, как же я всё успеваю, – я даже не знаю, что ответить.

Я не делаю вообще ничего, чтоб успеть хоть куда-то. Я только вспоминаю завет из одного хорошего романа: не ходи и не проси, сами придут и всё дадут.

И ещё я думаю: что такое происходит со мной? Зачем это происходит со мной?

Это мои мечты сбылись? Или это проявление лёгкой иронии Того, Кто над нами?

Он говорит: всё, что хотел, парень, я тебе дам, мне не жалко, и ровно в том виде, в котором ты этого заслуживаешь.

Но самое главное: я никак не вспомню, что в том опроснике ещё успел понаписать.

Помню, что ответ мой был абзаца на полтора, и то, что я перечислил выше, – далеко не весь список, а только в лучшем случае половина.

Несколько неважных слов в течение дня

Хорошие родители – это счастливые родители.

Хороший отец – счастливый отец.

Дети будут любить любого отца... ну, почти любого.

Вырастут и простят – и вспыльчивость, и пристрастие к горячительным напиткам, и долгие пропадания в неведомых командировках. Потому что: отец.

Но лучше было бы для всех, если б отец не мучился, не страдал, не искал утешения где попало, а был бы доволен своим местом на земле.

Улыбчивый и спокойный отец – самая большая опора и надежда для ребёнка. Получив улыбку и спокойное детство рядом с таким отцом, ребёнок на этом топливе проедет ещё десяток-другой лет, если не всю жизнь.

Недополучив этого – будет сам ломаться, тормозить, съезжать в кюветы, и там подолгу стоять, ржавея. Думать: отчего так?

А из-за того, что отец был поломан, и по этому образцу он невольно построил себя.

Если ты, отец, недоволен своим местом на земле, – сделай так, чтоб твой ребёнок этого не знал. Постарайся хотя бы. К чему детям твои душевные метания, страсти, вся твоя бытийная суета.

Отец должен быть как восход солнца: неотменимый, постоянный, убедительный, горячий.

Наверное, отец должен научить ребёнка чему-то такому, чего не может никто: ведь папа может всё что угодно.

К несчастью, у меня нет, или почти нет таких навыков.

То, чем я зарабатываю на жизнь, – это не преподаётся. Только чудаки думают, что можно научить быть писателем, или хотя бы журналистом.

Примитивную практику можно дать – но успешными писателями или журналистами становятся единицы; а неуспешных и без моих детей хватает. К чему им портить жизнь.

Сын хочет быть психологом, другой – кулинаром, дочка – ветеринаром, младшая поёт всё время. Ну, отлично. Писателей мне не надо.

Поэтому я просто приучил их читать; этого достаточно.

Я мог бы научить детей обращаться с оружием, и сказать им, что тело бrenно, и в этом нет большой беды, особенно, если рисковать жизнью – часть твоей работы.

Но оружия я дома не держу, ему там не место, что же касается взаимоотношений с твоей собственной жизнью – их тоже преподавать незачем: по крайней мере, пока твой сын не вырастет, и не попадёт в первую перестрелку.

В итоге я просто живу, стараюсь быть рядом с детьми как можно чаще, и никогда ничему не учить их, пока они сами об этом не спросят.

Я присутствовал при родах всех своих детей: им, я видел, было сложно.

Во всех дальнейших сложностях они могут положиться на меня, но преодолевать всё предназначенное им всё равно придётся самим.

Никто за нас не проживёт нашу жизнь.

Единственное, что может сделать отец для детей, – прожить свою отцовскую жизнь по-человечески. И чтоб дети это заметили.

Мой отец прожил жизнь так, что, как минимум, я никогда не усомнился в его мужественности и достоинстве. Этого мне хватило на всю прожитую мной до сих пор жизнь, и ещё осталось.

Я не говорю, что такой принцип воспитания универсален – но никакого другого я не знаю.

Лучшее воспитание – твоя совесть и твоё ежедневное поведение.

Отец никогда не устаёт. Отец никогда не теряет присутствия духа. Отца ничего не может напугать.

Отец будет сидеть рядом с тобой всю ночь, если ты заболел.

Отец проснётся в любое самое раннее утро, если тебе страшно, и ты его позвала.

Отец бросит всё и приедет за тобой, если тебе плохо.

Отцу ничего не жалко для тебя.

Надо ли говорить, что отец не унизит и не предаст тебя – или это и так очевидно?

Лучшего воспитателя, чем любовь, – не бывает.

Поэтому всё у нас обстоит так.

Я сейчас живу в деревне на берегу реки, со мной четыре ребёнка. Наша мама отдыхает от нас, и правильно делает.

В семь утра просыпается самая малая. Она кричит:

– Папа! Я встала!

– Иди ко мне! – зову я её с первого этажа. Я уже проснулся и пью чай на кухне. Надо не забыть спрятать шоколад, а то они его немедленно сожрут.

Она умывается, я её расчёсываю. Насыпаю ей хлопьев в молоко.

Потом мы идём с двумя нашими собаками к реке – поить их. Собаки – Шмель, огромный сенбернар, и Зоя, бассет-хаунд, – счастливы.

В девять утра просыпается вторая дочка.

Она может приготовить себе завтрак сама.

Её задача – подмести крыльцо, почистить и расставить всю обувь, убрать вольер, расчесать и протереть глаза собакам.

Потом они уходят вчетвером – две девочки и две собаки – гулять в лес, часа на полтора.

Часам к десяти просыпаются пацаны и, допустим, завтракают макаронами с сыром и овощами – папа позаботился, накрыл им стол.

Кровати за собой они убрали, теперь должны помыть за всеми посуду.

Когда девочки вернутся – дам поручение сыновьям: ещё час-полтора погулять с младшей девочкой. Она должна нагуляться перед дневным сном.

В час я её кормлю кашей, и мы идём с ней читать. Книжку она выбирает сама. Книжек у нас несколько сот. Книги есть во всех комнатах нашего дома.

Она уже умеет читать сама, но у нас есть ещё один год, когда папа и мама читают ей вслух.

Если и есть какое-то другое воспитание помимо родительского примера – то вот: чтение вслух. В книгах всё есть, что мы, суетливые взрослые люди, пытаемся поспешно формулировать.

Я отдыхаю от работы, когда я готовлю.

Готовлю я быстро и примитивные блюда: в обед, допустим, пюре и зверски пожаренная свинина с луком, под сыром и помидорами.

Обедаем мы все вместе, за большим столом, после дневного сна младшей. Сыновья приходят со своего вечного футбола, потные и задорные.

Дело сыновей: после обеда собрать и вынести мусор, сходить в соседнюю деревню за продуктами, если они кончились. Та деревня в двух километрах от нашей.

Они возвращаются и разбирают продукты, расставляя их в холодильнике.

После этого мы можем сыграть несколько партий в шахматы.

(Младшая в это время рисует.)

Или сходить искупаться.

(Все дети по очереди присматривают за младшей.)

Плавать я их в своё время научил, всех троих старших; за младшую примусь в следующем году.

Компьютеров дома нет, айфоны и айпады они оставили в городе, телевидения тоже нет, но раз в день они идут посмотреть какой-нибудь фильм на диске: их закуплено вдоволь на всё лето. Впрочем, они чаще пересматривают что-нибудь полюбожившееся.

Вечером мы идём гулять с дочками и собаками. Потом все вместе ужинаем, скажем, омлетом.

Дело старшей дочери: приготовить собакам еду.

Она готовит еду, и мы вместе идём смотреть, как собаки едят. Почему-то мне очень нравится это честное зрелище.

Следом она поливает цветы на участке, а младшая бежит за ней и всё комментирует.

В сущности, за весь день я могу перекинуться со своими сыновьями двумя-тремя предложениями: как настроение, во что играли, что будешь есть, тебе мат, что такое, неужели мне мат, спокойной ночи, сынок.

Ну, в крайнем случае: почему не вымыли посуду, немедленно за дело.

Впрочем, старший начал читать Библию и прочёл всю за два дня. Я задал ему несколько вопросов о прочитанном. Он ответил. Ответом я был удовлетворён.

С дочерьми мы говорим больше, в основном о пустяках... хотя не только.

Та, которая старшая, примерно десять раз в день слушает одну и ту же пластинку – изданный мизерным тиражом на исходе советской власти винил с песнями Ирины Сасси и Мiroслава Савина на стихи Георгия Иванова, Адамовича и Бунина.

Дочка иногда спрашивает: а почему там поётся именно про 17-й год? А почему «по снегу белому домой»? Я объясняю. Потом вдруг узнаю у мамы, что ей она уже задавала эти вопросы. Видимо, сверяет ответы родителей.

Иногда мы садимся вместе с дочками в машину и катаемся по лесу, слушая песни на стихи Есенина (я собрал целый диск, самых лучших), и на стихи Маяковского (собрал целый диск, самых лучших), и на стихи Цветаевой (да, самых лучших).

На ночь я снова читаю младшей дочери.

Старшая читает сама, примерно по книге в день-два.

Дети иногда молятся – но это сфера деятельности и влияния моей жены, я не имею к этому никакого отношения.

У меня нет никакой уверенности, что я хороший отец.

Девять десятых работы по воспитанию наших детей – заслуга моей жены.

Но я точно – отец, в этом у меня нет никаких сомнений.

Хождение по счастью

Дружба – наивысшая стадия бескорыстных отношений.

Родитель и ребёнок – тут всё понятно. Муж и жена, любовники, сёстры, братья – всё это тоже объяснимо.

И вдруг – дружба.

Два, по сути, посторонних человека вдруг рады друг друга видеть, хотя не связаны никакими узами. Бросаются друг другу на помощь, звонят друг другу ночами, тратят друг на друга последнее, ну и тому подобное.

Чаще всё это касается, простите, мужчин.

Не знаю, как в иностранных языках, а в русском даже сами определения личностных отношений между мужчинами и между женщинами звучат с на удивление разным наполнением. Вслушайтесь и сравните: «подруги» – «друзья».

Наивысшая форма дружбы – это, естественно, воинская служба. Служили два товарища, три товарища, четыре мушкетёра.

Замените всё это на женский род, и умилитесь: как вам кинокартина «Служили две подруги» или роман «Три подруги»? Как-то сразу не верится, что там пойдёт речь об удивительной дружбе. Какие-то совсем другие ожидания от произведений с такими наименованиями.

В «Трёх подругах», после пылкого периода дружбы и удачных замужеств, героини обязательно разойдутся по своим делам – длить и длить женскую дружбу нет никакого смысла; зачастую это противоестественно.

«Четыре подруги двадцать лет спустя» или «Четыре подруги тридцать лет спустя» – это просто кошмар какой-то: я б и не рискнул такую книгу открыть.

Женская дружба уживается, как правило, в форме родства – отсюда «Три сестры» Чехова и «Сёстры» Алексея Н. Толстого (первая, и лучшая, часть «Хождения по мукам»).

Женщины дружат с детьми и мужьями. Женщины ждут их.

А мужчины к жёнам и детям – возвращаются: разница.

Женщины вполне могут никого не ждать, желая сохранять свою свободу, – ну, тогда к ним никто и не вернётся.

Можно сколько угодно сердиться на мой мужской шовинизм, но проверяется сказанное мной до банального просто. Мужчина, отдавший жизнь за друга, – это обыденность, таких случаев – тысячи, они увековечены в мировой мифологии, истории, поэзии, об этом написаны тома книг.

«Отдать жизнь за други своя» – признак высшего состояния мужского (человеческого) духа.

Женщина, которая жертвует жизнью за свою подругу, – это алогизм, моветон, это нелепица какая-то. Зачем ей вообще было этим заниматься – у её подруги, что, не было парня, чтоб пожертвовать собой?

Если хорошенько порыться в мировых литературных сокровищницах, то, конечно, можно найти примеры и на этот счёт – но зачем? Лично мне категорически не хотелось бы, чтоб женщины занимались такой ерундой, как самопожертвование, измеряя свою дружбу мужскими категориями. У женщины много других занятий, где они дадут фору мужчинам.

Если вы по-прежнему категорически не согласны со мной, то вспомните одну песню вроде «Если друг оказался вдруг...», только про женщин. Или хотя бы строчку наподобие «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве...».

Если вспомните – буду счастлив.

Но вы не вспомните, потому что поэзия не врёт.

Мужская дружба – поэтична, женская годится только для флиртового сериала.

Мужчинам, говорю, лучше всего дружить на войне; но вообще можно встретить друга в горах, как в песне у Высоцкого, или в Москве, как в другой вышеприведённой песне, или в тайге, или у чёрта на куличках.

Труднее всего дружить во времена, когда достаток и успех стали понятиями определяющими, а вернее – подминающими любую суть.

Проще всего дружить либо когда у друзей нет ничего, зато есть радость о бытии (иногда оборачивающаяся тоской о несделанном), – либо когда у друзей есть всё, плюс радость о бытии (но и она тоже иногда оборачивается тоской о способах уже достигнутого ими).

Не позавидуешь мужчинам, которые пребывают в состоянии соревнования – один богаче, другой бедней, один талантливый, другой не очень, один забравшийся наверх, другой задумчиво расположившийся внизу. Какая уж тут дружба – для поддержания таких отношений нужно иметь крепкие нервы.

Мужской дружбе претит дух соревнования. Едва он появляется, в мужской дружбе неизбежно проступает что-то женское. Когда мужчина дружит, он не должен оглядываться на своё отражение, проходя мимо любой стеклянной поверхности, и вообще задумываться о том, как выглядит.

Настоящий мужчина всегда лучше всего выглядит, когда он равен себе. В то время как для женщины это – единственный вид роскоши, который может не прибавить ей шарма.

В советские времена (сейчас несколько читателей хмыкнули) мужская дружба была куда более демократична, чем сегодня. В нашем деревенском доме за одним столом, вокруг моего отца, сидели председатель колхоза, поэт из большого города, комбайнёр, собиратель краеведческого музея, водитель с овощной базы. Сам отец был директором школы. Все товарищи отца были равны.

Ничем особенным друг для друга они не могли быть полезны.

Дружили за так и помогали товарищам просто так: исключительно из чувства душевного родства.

На мой вкус, возможность таких отношений – и есть главная демократия, все остальные демократии от лукавого.

Помимо демократии, для дружбы необходим некоторый излишек свободного времени – и он тоже имелся: восьмичасовой рабочий день – штука крайне важная.

Ещё для дружбы нужна музыка – музыка звучала.

Помню, у мамы был день рождения, тридцать лет, а отец забыл купить ей подарок – впал в состояние непобедимой дружбы за неделю до праздника, и забыл из него выйти.

Утром, когда пришло время накрывать праздничный стол, отец вдруг понял, что ситуация критическая. Выйдя покурить на крыльцо, он попросил друга – того самого водителя с овощной базы – съездить в город и купить большое зеркало: у нас не было, а мама хотела на себя любоваться.

Ситуация усугублялась тем, что водитель, равно как и папа, в этот момент находился в бодрой и радужной степени алкогольного опьянения. Вдобавок к тому – он имел уже два прокола в правах, и третий прокол оставил бы его без работы.

Но это ему не помешало сорваться на своём грузовике в город.

В городе выяснилось, что сегодня выходной – а советские магазины имели обыкновение по воскресеньям закрываться. Друг проявил до сих пор скрытые способности детектива и нашёл директора магазина – могучую женщину с бетонным характером.

Невиданными обещаниями – впрочем, овощная база предоставляла некоторые возможности, – уговорил её открыть магазин на пять минут.

Денег не хватило – и он оставил в залог свои часы, перочинный нож и обручальное кольцо.

Купил, или, в некотором роде, обменял зеркало.

Дальше ситуация совсем вышла из-под контроля. Его едва не поймали работники государственной автоинспекции – они помчались вслед, когда грузовик не остановился на взмах волшебной палочки, и почти уже нагнали правонарушителя, но там, где дорога с асфальта свернула на просёлочную, милицейские «жигули» влезли в грязь и временно погибли.

Ладно бы только это! Зеркало друг моего отца положил в кузов грузовика – даже не закрепив его: мужчины не склонны думать о таких мелочах. Всю дорогу, включая погоню и бешеную езду по осенним лужам и прочим буеракам, зеркало летало по кузову взад-вперёд и наискосок.

Но не разбилось. Мужская дружба сохранила его.

Друг практически подвески королевы доставил в урочный час моему отцу – разве это не прекрасно?

У меня ещё сто подобных историй хранится в памяти.

Да, дружбы имеют обыкновение прекращаться – в том числе и мужские. У мужчин не настолько много здоровья, как им кажется. Здоровье периодически заканчивается непосредственно в процессе дружбы.

Иногда – насовсем.

И тогда, наконец, приходит черёд женским дружбам.

Все, кто сидел у моего отца за столом, – умерли. Зато живы жёны этих друзей, наши матери.

Теперь они дружат за мужей. Теперь они дружат – про мужей.

Музыки стало чуть меньше, бравады несравненно убавилось, не звучит отцовский аккордеон, и никто не катается по деревне на грузовике, пугая кур.

Но всё перечисленное присутствует незримо в нас, рядом с нами и над нами.

Теперь я привожу в деревню своих новых друзей. Жёны моих друзей присматриваются друг к другу.

Всё сбылось

В паспорте написано, что я родился в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области. Это не совсем так. Семья моя действительно жила в Ильинке, и там я провёл детство. Но родили меня в роддоме городка Скопин, в десяти километрах от моей Ильинки, где роддома не было.

Это случилось 7 июля 1975 года; три семёрки в дате моего рождения, считаю, чуть иронизируя над самим собой, время от времени приносят мне удачу.

В Скопине в своё время родились автор песни «Эх, дороги...» композитор Анатолий Новиков, маршал СССР Бирюзов, кинорежиссёр Лукинский, философ Хоружий, в том же городке жил и учился будущий российский политик Владислав Сурков.

Я был крещён вскоре после рождения в церкви села Казинка – это соседнее с Ильинкой село, откуда происходил родом мой дед по матери.

Отец мой, Николай Семёнович Прилепин, преподавал в соседней с Ильинкой деревне Высокое историю и одновременно был директором школы. В летние каникулы он брал заказ на ремонт школы и вдвоём с каким-нибудь приятелем красил здание, менял окна, штукатурил и тому подобное. Он всё умел делать, в том числе виртуозно играл на гитаре и баяне, и как баянист (если был аккордеон – то как аккордеонист) был званым гостем на всех свадьбах; рисовал, в том числе на заказ, но чаще дарил свои картины за так, или за «банку вина», как он это называл. Практически все его работы, за исключением нескольких, утеряны.

Отец научил меня ценить живопись: более всего Константина Коровина и Петрова-Водкина.

Отец был под метр девяносто ростом, во всех компаниях, где я его видел, он всегда был самым сильным и самым умным. Рядом с ним я никогда и ничего не боялся.

В юности отец хотел стать художником, и музыкантом он тоже хотел быть, и, кажется, ещё поэтом – я видел несколько его стихов, в рубцовском стиле написанных; потом они тоже потерялись.

Никем из перечисленных отец не стал, и это его со временем надломило. Он выпивал, как и многие мужики в те времена, но выпивал безжалостно к самому себе.

Впрочем, пока он был молод и полон сил – это не было так заметно.

Мы держали в Ильинке небольшое хозяйство: кур, уток; у нас был огород.

Огород отец вспахивал сам: запрягал лошадь – и пахал; я смотрел на это.

Крестьянский труд, как и любой другой, давался ему легко.

Родом отец происходил из села Каликино Добровского района Липецкой области – до появления Липецкой области село числилось в Тамбовской губернии. В Каликино я проводил большую часть лета с самого раннего детства до шестнадцати лет, и считаю эту деревню своей родиной в поэтическом смысле. Там, на окраине деревни, есть высокие холмы, куда я уходил и сидел там целыми днями, не зная зачем, глядя на простор и заходящее солнце.

Деда моего звали Семён Захарович, он тоже был высок, белёс, степенен, необычайно силён физически, имел басовитый голос, слышимый за целую улицу. Великую Отечественную он начал артиллеристом, командиром орудия, летом 1942 года, отвоёвав полгода, попал в окружение и в плен, и сидел в немецких лагерях до конца войны. Освободили его американцы. Когда его выпустили – он весил 47 килограмм. К своим он пошёл пешком. Деда допросили и отпустили восвояси.

Со своей женой – моей бабушкой – он поженился ещё до войны, и она, не получив от него ни одной весточки, кроме письма в 1942 году, ждала его всю войну – и дождалась.

Письмо это я видел и читал. Там дед писал, что был в страшном бою, они отражали танковую атаку, но теперь всё хорошо и он просит жену ждать его.

Бабушку звали – Мария Павловна, она была настоящая русская женщина, богомольная, терпеливая, никогда и ни при каких обстоятельствах не повышавшая ни на кого голоса. Читать она едва умела, и в школе училась то ли класс, то ли два. Бабушка была, как и дед, каликинская.

Письмо деда тоже потерялось. Оно было на открытке.

Позже добрые люди провели исследования и восстановили мою родословную по отцу до XVII века. Выяснилось, что Прилепины происходили из однодворцев: было такое сословие, набираемое из боярских детей, казачества и монастырских крестьян для охраны окраин государства. Прилепины не были детьми боярскими – они происходили из монастырских крестьян. Предки по линии бабушки тоже были из однодворцев – удивительно, но даже после двух с лишним десятилетий советской власти, в силу традиции, бывшие однодворцы всё равно заключали браки внутри своего сословия.

Кто-то из Прилепных, согласно документам, ещё в XVII веке ходил в походы на Крым; это, в силу некоторых обстоятельств моей биографии, кажется мне забавным и знаковым.

Мать моя, Татьяна Николаевна, в девичестве – Нисифорова, работала в сельской ильинской больнице. Рядом с больницей стояла не разрушенная, но ещё не открытая тогда церковь. Я часто гулял вокруг этой церкви. Она казалась мне высокой и загадочной.

Напротив церкви стояла двухэтажная школа – потом её разрушили, – где я начал учиться.

Моего деда по матери звали Николай Егорович Нисифоров, они с бабушкой жили в пригороде Скопина – в пору моего детства это место называлось совхоз им. Мичурина. Потом совхоз переименовали в село Успенское.

Дед с бабушкой (мы называли её бабукой) были хлебосольны, постоянно собирали гостей, устраивали огромные застолья. Держали хозяйство: две коровы, несколько свиней, кролики, утки, гуси, куры.

Дед был охотником.

Ещё он научил меня косить. Всё лето я и мой двоюродный брат Колёк, будущий герой многих моих рассказов, занимались крестьянским трудом; думаю, это пошло мне на пользу.

Дед прошёл почти всю войну: начал воевать под Сталинградом и встретил победу в Венгрии. Он был пулемётчиком, и потерял только вторых номеров пять или шесть человек. Вообще же, из его пулемётного расчёта погибло более двух десятков солдат. Когда они форсировали Днепр, снаряд попал в плот, на котором они плыли, и все погибли, деда выбросило в воду – он не был ранен, но и плавать не умел, чудом уцепился за какое-то бревно и доплыл.

В 1946–1947 годах дед дослуживал на территории Западной Украины, и всю жизнь ненавидел бандеровцев; «бандера» – с маленькой, потому что это произносилось как синоним «негодяя» или потенциального предателя, – было у него одним из самых ругательных слов.

Когда дед вернулся с фронта, мать его не узнала; на него ещё в 1942 году пришла похоронка. Писем домой он всё это время не писал. Говорил, что тогда он едва умел писать. В школе он тоже учился то ли один класс, то ли два.

На самом деле, сильно контуженного в боях под Сталинградом деда подобрала какая-то баба, и он у неё сначала оклемался, а потом ещё жил какое-то время – дрова, говорит, рубил.

В общем, когда он вернулся, его во второй раз оформили на службу – уж не знаю, как он исхитрился объяснить, куда он делся на несколько месяцев. Видимо, по этой причине дед старался не попадаться никому на глаза и даже писем домой не писал.

Он был награждён медалями «За отвагу» и «За взятие Будапешта».

Родители моего деда работали на даче у наркома Ворошилова и видели Сталина. Надеюсь, что в каких-нибудь документах рано или поздно обнаружатся садовники Нисифоровы – это мои.

Бабушку мою, жену деда, звали Елена Степановна, она была родом из-под Воронежа; говорила, что казачка, и навела меня на мысль почитать книги про Степана Разина – она сама читала романы и Чапыгина, и Злобина. Чапыгин ей нравился больше.

Мать моей бабушки, моя прабабка, родом из центральной Украины – и говорила исключительно на суржике; фамилия её была Толубеева, звали Марией. Я её не застал, она умерла молодой, но бабушка так рассказывала.

В конечном итоге я считаю себя одновременно и рязанским, и липецким, и тамбовским, и воронежским. И заодно немного малороссом.

Бабушка знала песни на украинском и пела их иногда.

Они устраивали с моим отцом концерты – он на семиструнной гитаре, она на балалайке; играли «Страдания» – это было бесподобно.

Когда отец и бабука играли вместе – так выглядело моё счастье.

В Ильинке у нас был проигрыватель грампластинок, на котором мы непрерывно, целыми днями, крутили два первых диска Александра Дольского, которые отец привёз из Рязани. Пластинку Дольского «Государство синих глаз» 1980 года я до сих пор считаю чудом. Много позже я встретил Дольского и сказал ему об этом. Он был первым поэтом, которому я дал почитать свои стихи. Дольский перезвонил мне и сказал, что я талантлив. Я до сих пор благодарен ему за это.

Мы прожили в Ильинке до 1984 года и переехали в Дзержинск тогда ещё Горьковской области, где у матери жил брат, писавший ей, что в городе дают молодым работникам бесплатное жильё и можно найти хорошую работу.

Сначала в Дзержинск переехал отец и устроился преподавателем в ПТУ номер 44 на проспекте Дзержинского.

Потом приехали мы всей семьёй: мать, старшая сестра и я. Мать устроилась в Дзержинске на завод «Корунд». Мы жили в общежитии на проспекте Дзержинского, 36, это был последний дом в городе, дальше начиналась заводская зона.

В Дзержинске, в возрасте девяти лет, я впервые открыл синий томик Сергея Есенина, хотя мама читала мне его вслух ещё в Ильинке, и я, к примеру, был тогда уверен, что «хаты-вризахобраза» – это одно волшебное слово.

В доме нашем имелось много другой поэзии, отец любил и собирал стихи, но Есенин был, как и я, рязанский, и это повлияло на мой выбор. Я начал читать его сам – и едва не потерял от чего-то неизъяснимого рассудок. До сих пор я могу продолжить любую строчку из стихов Есенина по памяти и сказать, в каком году эти стихи написаны.

В том же году мне попала в нашей библиотеке книга писателя Злобина «Степан Разин», вся пожелтевшая, в переплёте, сделанном из жёлтой в чёрную крапину занавески, – про этот роман мне говорила бабука, теперь я прочитал его, и был совершенным образом потрясён.

Немногим позже я нашёл романы о Разине Чапыгина и Шукшина, они мне тоже нравились, но Злобин больше всех. В детстве я перечитывал эту книгу, быть может, двадцать или тридцать раз. Она тронула меня больше, чем «Остров сокровищ» или «Робинзон Крузо».

Хотя, конечно, два американца – Лондон и Твен, два британца – Конан Дойл и Киплинг, и два француза – Дюма и Жюль Верн, – доставили мне много удивительных минут: лучшее из написанного ими – в чистейшем виде волшебство.

Другой моей любовью был Аркадий Гайдар. Помню: я болею, простыл, и мама мне читает «Школу» Гайдара – прекрасно.

Я стал тем, что я есть, благодаря этим книжкам, моему деревенскому детству и моим трудолюбивым, незлобтивным, щедрым старикам. Все они – Семён Захарович, Мария Павловна, Николай Егорович и Елена Степановна – очень сильно повлияли на меня, я всех их очень и по-разному любил.

В девять лет я начал писать стихи.

Первое из написанных мной стихотворений завершалось так: «Люблю я Русь, клянусь». Ничего принципиально нового я с тех пор не придумал.

Учились мы с сестрой в школе номер 10 на площади Маяковского. Из школьного коридора был виден отличный памятник Маяковскому. Напротив моей школы был роддом, в котором, скорей всего, родился в 1943 году Эдуард Лимонов, но тогда я ещё об этом не знал.

К тринадцати годам я был совершенно сдвинут на поэзии Серебряного века. Целыми днями я читал стихи и едва не бредил ими. Отец подарил мне печатную машинку – и я понемногу собрал антологии русских футуристов, символистов и акмеистов, перепечатывая их собственноручно, двумя пальцами.

Если стихи Маяковского и Каменского (футуризм), Блока и Брюсова (символизм), Городецкого и даже Ахматовой (акмеизм) были доступны, то Мережковского, Белого, Сологуба и Бальмонта, Хлебникова и Бенедикта Лившица, и тем более Гумилёва найти было куда сложнее.

Но я находил.

Во-первых, в разнообразных советских поэтических антологиях, где почти все вышеназванные появлялись время от времени.

Во-вторых, у нас было советское собрание сочинений Корнея Чуковского, и там были, о, чудо, в отличной статье о футуристах – множество примеров футуристических стихов, иные даже целиком; ещё там была статья про Фёдора Сологуба, тоже с целыми стихами в качестве примеров; там я обнаружил блистательную статью про Игоря Северянина – и странным образом влюбился в его стихи, которые собрал в отдельную, собственного изготовления, книжку. Почти всего классического, начиная с «Громокипящего кубка» и года до 17-го Северянина я знал наизусть (сейчас я думаю – с некоторой, быть может, печалью, – что это очень средний поэт).

В-третьих, какие-то редкие издания перечисленных поэтов я обнаружил в запасниках дзержинского Дома книги, где иногда сидел целыми днями, понемногу прогуливая школу; а что-то к 1987 году начало появляться в периодике.

В любом случае, когда отец прошил и переплёл собранные мною антологии символистов, футуристов и акмеистов, – их в России не существовало вообще: собрали их и начали издавать только лет десять спустя.

Двоюродная моя сестра Саша училась на филфаке – и носила туда мои антологии, потому что других учебных пособий по теме русского модернизма начала века просто не было.

В 1989 году я увидел в кинотеатре работу Алана Паркера «Сердце Ангела» с Микки Рурком в главной роли, и пересмотрел его несколько десятков раз, будучи поражён эстетической безупречностью фильма и явственным ощущением чего-то потустороннего. Рурк там играл гениально.

У сестры Саши был парень – Геннадий, носивший прозвище Ганс, – Ульянов. Он был музыкантом. Музыка стала новой моей страстью.

В пятнадцать лет я начал учиться играть на гитаре и сочинять песни – скажем, песню «Вороны» я придумал в 16 лет, записал на аудиокассету, а спустя 25 лет извлёк, немного переделал текст и записал: её исполнил рок-бард Бранимир.

С Геной мы были неразлучны года четыре подряд. Я нещадно прогуливал школу, мы целыми днями слушали музыку, пили пиво и мечтали о скорой славе.

Стены моей комнаты в квартире на улице Терешковой, 10, полученной матерью от завода, где она работала, были украшены плакатами с изображениями Александра Башлачёва, Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя и Константина Кинчева. Чуть меньшее пространство занимали Вячеслав Бутусов, Дмитрий Ревякин, Михаил Борзыкин и Александр Скляр.

Тогда же я начал слушать и собирать все записи «Cure», «A-NA», «Depeche Mode». Многие годы любимейшим моим исполнителем был Марк Алмонд, удивительными казались поздний Брайн Ферри и ранний Крис Айзек; пару лет спустя в моей фонотеке появился и утвердился на многие годы Игги Поп.

По-прежнему и я, и мои родители много слушали Александра Дольского, очень любимого моей матерью Владимира Высоцкого и открытого для меня отцом Александра Вертинского, которого я обожал.

К 1990 году мы сочинили с Гансом штук тридцать песен, некоторые из них мне до сих пор кажутся очень хорошими. В том же году наша с ним группа впервые начала выступать на рок-фестивалях, хотя сам я на сцену ещё не выходил.

Если говорить о литературе, то в тот год я начал узнавать греческую поэзию XX века, которую люблю по сей день, особенно мне близки Яннис Рицос и Тасос Ливадитис. Восхищают они меня несколько не меньше, чем ключевые фигуры столетия вроде Хэма или Экзюпери.

В прозе я тогда же открыл для себя Гайто Газданова, пожалуй, любимого моего писателя по сей день. Все девяностые я был увлечён сочинениями Генри Миллера.

В эти годы я вдруг начал, как остервенелый, качаться, и за пару лет достиг каких-то удивительных результатов: я мог целыми днями отжиматься и подтягиваться, бегать по лесу с гантелями, бить боксёрскую грушу, и находил это крайне увлекательным.

Ещё в 1990 году я прочитал Лимонова. В Скопине, на книжном развале, я увидел книгу «Это я, Эдичка» – и, зная, что автор из Дзержинска, купил. Лимоновский роман стал для меня потрясением, в чём-то даже сравнимым с первой реакцией на есенинские стихи. Но там я был ещё ребёнком, а тут уже вытянулся в подростка. Лимонов был отличным писателем до тюрьмы и в тюрьме, а потом расхотел, но это уже его дело.

В периодике тогда мне стали попадаться антиперестроечные статьи Лимонова – и я сразу безоговорочно им поверил.

Отец мой был настроен консервативно, хотя в бесконечных политических спорах той поры не участвовал. Тогда все вокруг нас поголовно были демократами, – а отец, ни с кем не споря, уходил что-нибудь читать, закуривая по дороге «Астру».

19 августа 1991 года мы с моей сестрой, по дороге из российского ещё Крыма, попали в Москву, – я помню, как весь день бродил по городу и, встречая колонну демократических демонстрантов, испытывал явственное чувство отторжения.

Закончив школу, я пошёл на филфак. Учиться там я не любил, латынь и языкознание еле сдавал, и всё надеялся, что вот-вот мы с Гансом станем известны, и мне можно будет оставить мой университет в Нижнем – кажется, Горький тогда уже переименовали в Нижний Новгород. Филфак располагался сначала на площади Минина, а потом переехал на Большую Покровку.

Но вместо музыки, неожиданно для самого себя, я занялся совсем другим.

Наверное, на меня очень сильно повлияла смерть отца, – он умер в 1994 году в возрасте 47 лет.

Ещё в 93-м вышел странный указ Бориса Ельцина о пополнении рядов МВД учащимися вузов. Студенты, начиная с третьего курса, могли, прослужив полгода в армии, устроиться на разные должности в милиции.

Прослышав об этом, я решил подать документы: возьмите и меня.

Помню, что в милицию я пришёл с длинными волосами – я же был музыкант. И ещё с серьгой в ухе, в виде крестика. Удивительно, но принимавший документы подполковник не выгнал меня вон.

В итоге, когда таких, как я, набралось достаточное количество, для нас создали в лесу на реке Линда специальную воинскую часть. Я взял академ в университете и пошёл служить. Это был 94-й год.

Для нас специально подобрали армейских, а не милицейских, командиров, которые должны были из студенчества стремительно выбить гражданскую дурь – тем более что служить нам предстояло не положенные тогда полтора года, а куда меньше.

Нас начали терзать бесконечной строевой, ночными построениями и уставщиной, но хватило командиров только месяца на полтора – ввиду того, что самих их никто не проверял,

они начали бесконечно пьянствовать; в итоге наша служба постепенно превратилась в нечто невообразимое – потому что мы тоже, естественно, пили, тягая водку из соседних деревень. Офицеры прятались от нас, мы от них. Даже не могу понять, что напоминала мне моя служба.

Закончилось всё, впрочем, благополучно – после этого приключения я отучился в милицейской учебке, попал в патрульно-постовую службу, и оттуда поскорей перевёлся в ОМОН: тогда как раз началась первая чеченская, в Нижегородском ОМОНе и в местном СОБРе уже были потери.

Я точно знал, что мне туда надо.

Примерно в те годы я бросил писать стихи, и с тех пор написал их не более пяти – семи штук, по случайности.

В марте 1996 года наш отряд поехал в командировку в Грозный, который как раз тогда брали в очередной раз местные сепаратисты при поддержке мирового ваххабитского движения и добровольцев из отдельных бывших республик СССР.

Отряд наш провёл множество зачисток, в которых я тоже, естественно, участвовал, мы сопровождали разные опасные грузы, охраняли офицеров высшего звена, участвовали в нескольких боях, брали в плен и вывозили за пределы республики «полевых командиров». Мародёрством не занимались категорически, пленных не избивали и не пытали – короче, всё, что потом вешали на «федералов», прошло мимо меня, ничего подобного я никогда не видел.

Помню, мы подсчитали, что за весну того года в отрядах особого назначения, что работали в Грозном, погиб каждый двадцатый боец. Убивали тогда каждый день – и добавляли новые фамилии в фойе ГУОШ (штаб округа) на специальной траурной доске. Мы там как раз стояли, в центре Грозного.

Теперь я не узнаю Грозный – он был изуродован и развален; нынче всё иначе.

В конце 1996 года в Дзержинск приехал Эдуард Лимонов. В Дзержинске он не был с детства.

После встречи с читателями я подошёл к Лимонову и сказал, что я из ОМОНа, и тоже хочу антибуржуазной революции. Ельцина и демократию тех времён я за власть не считал; хотя думал об этом, в сущности, мало.

Лимонов дал мне свой адрес и телефон. Спустя пару недель написал ему письмо. Там было про то, как я люблю его книги, особенно «Дневник неудачника». И ещё два моих военных стихотворения были в письме.

Он ответил мне. Хотя Лимонов терпеть не мог, когда ему присылали стихи, он написал мне: «Стихи у вас отличные, мы дадим в “Лимонке”. Одно». Ещё там было про партийные дела.

Я написал тогда заявление о вступлении в партию, но оно затерялось, в итоге я вступил в Национал-большевистскую партию чуть позже.

В 1997 году я встретил свою жену Машу и вскоре, по безумной любви, женился.

Помню, что месяцы моей влюблённости совпали с тем, что я наконец раздобыл сборник поэзии Анатолия Мариенгофа – и читал его ранние стихи и поэмы взахлёб. До 1924 года он был очень оригинальным поэтом.

В 1998 году у нас с Машей родился первый сын.

Ещё помню, как вместе с женою мы читали «Иосиф и его братья» Томаса Манна – это невозможная и величественная книга, в мире таких несколько, я перечитываю их раз в десять лет – эту, «Тихий Дон», «Анну Каренину».

В 1999 году, летом – осенью, в начале второй чеченской, мы ездили в командировку в Дагестан, стояли в Махачкале, и снова катались туда-сюда, сопровождали грузы и охраняли всякое начальство, но толком не воевали, хотя несколько критических ситуаций имели место быть.

Соседствующим с нашим отрядом подразделениям попало очень сильно – с кем-то из них мы общались, и несколько историй потом вошли в роман «Патологии», где, впрочем, остальные герои списаны с бойцов нашего отряда.

В ОМОНе я работал четыре с лишним года: начал с рядового бойца, потом стал командиром отделения, затем, недолго, заместителем командира взвода. Я уже готовился стать офицером, но должность заместителя оружейника, которую мне предлагали, не устраивала меня.

На службе я чувствовал себя отлично – это моя среда, я был там на своём месте. Но тогда нам платили слишком мало – в силу очередного кризиса. Не дождавшись офицерской должности, в самом конце 1999 года я ушёл, даже не предполагая, где буду теперь работать: недавний омоновец, едва ли не более всего размышляющий на тему, кто всё-таки важнее – Иосиф Бродский или Юрий Кузнецов.

Помню, явился однажды к зданию ФСБ в Нижнем Новгороде и некоторое время стоял там, у входа, раздумывая: заходить или нет. Что-то меня остановило (Бродский или Кузнецов?), я развернулся и ушёл. Мог бы, думаю, сейчас быть офицером в этой структуре. Подполковником, скорей всего, уже стал бы. Неприятие происходившего в стране никогда не означало в моём случае отрицание государства как такового.

Попал я в итоге в газету, она называлась «Дело»: начал как журналист, но вскоре стал редактором. Потом под моим началом было ещё много разных газет.

Начался период политический. На взгляды мои наибольшее влияние оказали работы Сергея Кара-Мурзы, Вадима Кожина и Александра Панарина.

Тогда же, с некоторым запозданием, я открыл для себя Александра Проханова, которого почитаю за одного из своих учителей, и не только литературных; да, с какого-то момента ему надо было перестать сочинять новые романы, но «Иду в путь мой», «Дворец» и «Надпись» – это прекрасные книги.

В те же годы я пожизненно влюбился в поэзию Бориса Рыжего.

Следующим моим запоздалым открытием был советский писатель Леонид Леонов, чьё собрание сочинений мы приобрели с женой в букинистическом – куда по бедности ходили радовать себя хоть чем-то, покупая отдельные книги за рубль, а собрания – рублей за пятнадцать. У Леонова более всего нравится роман «Дорога на океан», кажущийся мне огромным и таинственным.

Из музыки: с какого-то времени мы очень много слушали Михаила Щербакова; это великолепный тип, и, думаю, недостижимый для его коллег по ремеслу мастер. Даже не знаю, как он угодил в наше время из какого-то своего.

Главным и самым любимым художником нашей эпохи был для меня тогда и является по сей день Гелий Коржев.

Первые лет семь нашей совместной жизни с женой были очень бедными, жили мы в буквальном смысле впроголодь, но всё равно родили второго ребёнка, а потом и третьего.

Самый конец девяностых и «нулевые» были временем активной моей работы с Национал-большевистской партией, впоследствии запрещённой. Помню себя на площади Маяковского в Москве, во время огромной драки с милицией, помню ведущим колонны нацболов в Нижнем Новгороде по Большой Покровской и наши митинги на площади Минина. Задержания, допросы и всё такое стало моим бытом – из человека в форме я превратился в полную свою противоположность: смутьяна и революционера. Меня вполне могли посадить в тюрьму, всё к тому шло. Книжки про Степана Разина и юность Аркадия Голикова явно сказались на моём характере.

По взглядам я был безусловно «красным», «левым»; к тому же на те годы пришёлся очередной виток моей влюблённости в советскую литературу: в первую очередь я имею в виду мовистскую прозу позднего Валентина Катаева, Алексея Н. Толстого периода двадцатых, а

также поэзию Павла Васильева и Бориса Корнилова. В этом ряду стоит назвать и чуть позже прочитанного мной Владимира Луговского.

Вообще же, в нацболах парадоксальным и органичным образом соединялось «левое» и «правое», «анархистское» и «консервативное». Глобализм и либеральное двуличие мы ненавидели как чуму.

Нацболов, опередивших время на двадцать лет, большинство воспринимало тогда как маргиналов и дикарей. Страна на тот момент была по большей части аполитична и варилась в русофобской и антисоветской похлёбке, не замечая этого.

Оставленные Россией военные базы в Лурдесе и в Камрани, сброшенная из космоса станция «Мир», – всё это не оставляло во мне иллюзий касательно того, какой видит себя страна в ближайшем будущем. Я не хотел жить в такой стране. Я хотел реванша и возвращения утраченного моим государством.

В 2001 году (после разовой публикации в 1997-м) я начал публиковаться в газете «Лимонка» – одна из первых, если не первая статья моя называлась «Я пришёл из России».

В том же году я начал писать роман «Патологии», который был закончен в 2004 году и опубликован сначала в журнале «Север», потом в «Роман-газете», которой руководил Юрий Козлов – отличный и не оценённый по достоинству русский писатель, умный и парадоксальный. Он стал одним из первых читателей моего романа.

В 2005 году «Патологии» вышли отдельной книжкой в издательстве «Андреевский флаг».

В том году мне исполнилось тридцать лет – странным образом до этого года я никогда не отмечал свои дни рождения, но 7 июля в офис моей газеты на проспекте Гагарина, окна которого выходили во двор СИЗО, пришёл нацбол Илья Шамазов, мы отметили с ним мою днюху вдвоём, и с тех пор десять последующих лет были практически неразлучны. Илья появляется в качестве персонажа в нескольких моих рассказах.

Три года подряд я ездил на литературные семинары в Липках, где, в числе прочих, познакомился с очень важным в моём становлении и в жизни моей человеком: Леонидом Абрамовичем Юзефовичем. Многие годы я почти безрезультатно пытаюсь научиться у него меньше говорить, не умничать, ничего не предсказывать, никогда не позировать, думать больше о поэзии и не стараться быть правым в каждом споре.

Другим современником, чуть позже поразившим моё воображение, станет писатель Александр Терехов, которого я считаю исключительным, аномальным явлением в русской литературе и в русском языке.

В Липках начало формироваться наше литературное поколение, которое некоторое время именовали «новыми реалистами»: Сергей Шаргунов с тех пор мой ближайший соратник и товарищ.

Второй мой роман – «Санька» – о нацболах, вышедший в 2006 году, принёс мне известность.

Я сразу поставил себе цель публиковаться и в «Новом мире», и в «Нашем современнике» – тогда противостояние патриотов и либералов имело значение, – но я решил, что заставлю иметь со мной дело представителей любых групп и кланов. В сущности, так и получилось.

Я успел увидеть Валентина Григорьевича Распутина и лично сказать то, что считал самым важным, и пожать руку, которая помнила тепло рукопожатия Леонова, дальше это тепло шло к Горькому, к Льву Толстому, к Тургеневу, к Гоголю, к Пушкину. Несколько раз мне звонили от Распутина и передавали его слова обо мне и о моих книгах, которые я помню по сей день и никому не скажу.

Из очередных встреч и удивлений: я прочёл роман «Благоволительницы» Джонатана Литтла и ошалел. Потом мы с ним познакомились и некоторое время дружили. Затем наша

дружба как-то сошла на нет. Он хороший парень, но, как почти все европейские интеллектуалы, считает Россию ужасной. К тому же, мне кажется, что Джонатан психически не совсем в себе; впрочем, это как раз нормально для людей нашего круга.

На Западе меня больше всего переводили во Франции и в Сербии – я был в этих странах десятки раз; судьба свела нас с Эмиром Кустурицей, чьи «Аризонские мечты» – один из любимейших моих фильмов; я часто бывал у него в гостях.

Ещё меня много переводили в Италии. Вообще, мои книги переведены примерно на 25 языков; но это ничего особенного не значит.

Много лет подряд я был умеренно пьян каждый день, это было моим нормальным состоянием; до сих пор, если я вдруг слышу свои старые интервью на радио, я могу определить, сколько выпил – пятьсот или уже семьсот грамм, реже когда триста; помню, как я некоторое время колесил по США в одной весёлой компании, всегда, неизменно, находясь под градусом; во всякий свой приезд на Кубу я тоже пил, как заводной, и был рад этому; короче, я так жил, и бросал пить, только когда месяцев на пять уезжал в свой домик в керженских лесах, где сочинял новую книгу.

В 2010 году мы вновь встретились с Геннадием Ульяновым, с которым толком не общались предыдущие лет пятнадцать, заново собрали группу, назвав её «Элефанк», и записали несколько музыкальных альбомов. Большим удивлением стало для меня, что подпеть нам соглашались люди, чьи изображения двадцать лет назад висели на стенах моей комнаты: Борзыкин, Кинчев, Ревякин, Скляр. Я стал выходить на сцену как исполнитель. Мы дали дюжину концертов в разных концах страны, в том числе на огромных площадках; это был забавный опыт для меня.

Я увлёкся рэп-музыкой, в которой впоследствии разочаровался; тем не менее многие годы я слушал ребят вроде 5 °Cent и Eminem, а ещё Мано Чао и Дамиана Марли. (Хотя и Свиридова тоже, и многих композиторов сталинского времени: Соловьёва-Седого, Блантера, Милютину, Хренникова; мне кажется, это было эпическое и недостижимое время, в том числе и с музыкальной точки зрения.)

Мы записали несколько совместных песен с группой «25/17» и с рэп-музыкантами Вис Виталис и Хаски. Андрей Бледный и Ант из «25/17» сделали спектакль по моему роману «Обитель», а я снялся в паре их клипов.

У меня был недолгий период относительного сближения с теми людьми, которых я ненавидел последние двадцать лет, – российскими либералами. Повлияла на это по большей части кинорежиссёр Дуня Смирнова, с которой мы отлично дружили. Она хотела познакомить меня со своим будущим мужем, но тот отказался, сказав: «Эти люди совсем недавно хотели меня убить». В чём-то он был даже прав.

После моей статьи «Письмо товарищу Сталину», которая была опубликована в 2012 году и вызвала ужасный скандал с обвинениями автора в ксенофобии, история сближения с либералами благополучно завершилась.

С какого-то момента моим самым близким товарищем стал молодой музыкант Рич, мы сделали несколько совместных работ, самая нашумевшая из которых песня под названием «Пора валить тех, кто говорит “Пора валить”».

Я сыграл в нескольких фильмах, среди прочего в моём багаже – главная роль в фильме «Гайлер» и собравшая множество призов короткометражка «Дежурство». Это был ещё один забавный опыт.

Зимой 2013 года в Киеве начался Майдан – я был к этому готов, и уже полгода как делал разные заметки по украинской проблеме, где прямо говорил о возможности скорого государственного переворота, который возглавят либералы, а проведёт «правая», неонацистского окраса, массовка.

Весной 2014-го началась война, которую я тоже предсказал за несколько месяцев до её начала.

В ту весну я объявил личное перемирие российской власти – появились куда более важные дела.

С апреля месяца мы, нацболы, в том числе через мою нижегородскую газету, занимались поставками так называемой «гуманитарной помощи» на Донбасс – на самом деле, мы загоняли всё необходимое ополчению в Донецк и Славянск; тогда же началась вербовка добровольцев – для этого мы запустили движение «Интербригады».

Вопрос о создании своего подразделения жёстко встал в середине лета – в ЛНР уже воевал взвод нацболов, который я с какого-то момента курировал; но этого было мало – особенно учитывая то, что мы перегнали на Донбасс сотни людей, попавших в итоге в самые разные подразделения, но не в наше. Понимая, что «снизу» в сложившейся обстановке подразделение уже не создать, я начал искать пути создания своего отряда «сверху». В конце июля 2014-го я познакомился с Олегом Царёвым, на тот момент занимавшим должность главы Парламента Новороссии; мы должны были зайти на Донбасс вместе с ним; но он стремительно потерял там свои позиции.

В итоге, не найдя никаких коротких путей, я начал работать в ДНР и ЛНР в качестве военкора (в сентябре-октябре мои заметки публиковала «Комсомолка» и множество других изданий) – хотя эта работа мало устраивала меня, тем более, что там и так отлично справлялись ребята вроде Семёна Пегова, с которым мы тут же заружились.

В первых числах сентября 2014-го я познакомился в Донецке с Арсеном «Моторолой» Павловым, и готов был идти к нему в «Спарту», он меня брал, – но тогда мне пришлось бы похоронить тему с нашим батальоном.

В октябре 2014 года я познакомился всё там же, в Донецке, с одним из отцов «русской весны» – Андреем Пургиным, и предложил ему свой батальон – с меня были бы люди и весомая часть обеспечения, с него – возможность работать в структуре создаваемой тогда армии ДНР.

Но и Пургин вскоре потерял своё положение и все свои должности.

Не оставляя своей идеи, в течение 2015-го я многократно посещал Донбасс в качестве поставщика гуманитарной помощи – на этот раз самой настоящей, для мирных жителей. У меня и моей команды было множество разных приключений, пару раз меня могли убить, ещё несколько раз – посадить за контрабанду, но в итоге мы помогли даже не сотням, а тысячам жителей Донбасса, – и это главное.

Наконец, зимой 2015-го моему товарищу Александру Казакову, работавшему советником Главы ДНР Александра Захарченко, понадобился помощник – и он предложил мне поработать с ним вместе.

Сначала я был консультантом по информационной политике при администрации ДНР, но вскоре получил должность советника и офицерское звание.

С Захарченко мы виделись едва ли не в ежедневном режиме, объездили по много раз все передовые позиции, и много о чём переговаривали при самых разных обстоятельствах; я хорошо знал и очень сильно любил этого красивого и мужественного человека.

Вопрос о создании своего батальона я поднял месяца через три совместной работы с ним – когда понял, что мне в самом широком смысле доверяют. Захарченко кивнул, но ничего конкретного на первый раз не сказал.

Мы тогда крепко сружились с Арсеном Моторолой, и снова вернулась тема: а не пойти ли мне в «Спарту», правда, теперь уже на офицерскую должность; несколько раз мы говорили с ним об этом.

Однако в мой день рождения, который мы в компании Главы ДНР и нескольких офицеров из хулиганства справляли на передовой, в виду украинских позиций, 7 июля 2016 года, Захарченко утвердил создание нашего батальона.

Мы получили приказ собирать своё подразделение.

В октябре 2016-го батальон начал работу.

В том же месяце диверсанты убили Моторолу. После смерти отца, это одна из главных потерь в моей жизни. Арсен был удивительный.

В ноябре наш бат получил первое боевое распоряжение.

В том же месяце Захарченко личным приказом присвоил мне звание майора.

В подразделении я занял должность заместителя комбата, в прессе меня именовали то комиссаром, то политруком, но к подобной работе я не имел никакого отношения, и необходимости в этом не было. Круг моих задач был самым широким. Батальон, по сути, подчинялся мне – и это не особенно скрывалось.

В последующий, 17-й, год батальон занимал передовые позиции в районе Коминтерново; в районе Пантелеймоновки – под Горловкой, напротив Верхнеторецкой; а также в районе посёлка Сосновка. Мы откровенно доминировали в районе Верхнеторецкой: в результате нескольких операций, продуманных в том числе и мной, и при моём непосредственном участии, мы принудили ВСУ оставить часть своих позиций у Верхнеторецкой.

На донбасских фронтах я познакомился и подружился с лучшими, на мой взгляд, людьми в России. Характерно, что многие из них, родившись на Украине, в самой России не были никогда – но едва началась война, выбрали русскую сторону. В отличие, кстати сказать, от огромного количества моих бывших литературных и музыкальных московских приятелей, которых я могу только презирать.

По итогам трёх своих военных кампаний я был несколько раз награждён.

Первые полгода я жил в Донецке один, без семьи, а потом ко мне приехала жена и привезла детей, включая самую младшую дочь – четвёртого нашего ребёнка.

Жена хотела привезти и нашу огромную, породы сенбернар, собаку – Шмеля. «Как он доедет, наш старик?» – сказал я. «Ты-то доезжаешь», – ответила жена.

Время от времени ко мне в гости приезжали и пели бойцам нашего батальона такие отличные люди, как Вадим Самойлов, Дмитрий Ревякин, Вадим Степанцов и Юлия Чичерина.

Помню Ревякина, поющего у меня на донецкой кухне: как будто мне снился сон, а потом я проснулся – а всё так и есть, как во сне, только по-настоящему.

Это был ещё один важный опыт, и, несмотря на всё случившееся, я был по-настоящему счастлив на Донбассе.

До и после донецкой войны мной были написаны пять романов («Патологии», «Санька», «Чёрная обезьяна», «Обитель», «Некоторые не попадут в ад»), четыре книги рассказов и повестей («Грех», «Ботинки, полные горячей водкой», «Восьмёрка», «Семь жизней») и четыре литературно-биографических сочинения («Подельник эпохи: Леонид Леонов», «Непохожие поэты: Мариенгоф, Луговской, Корнилов», «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», «Есенин. Обещая встречу впереди»).

Я хотел бы написать ещё несколько книг, хотя в моей жизни всё уже сбылось, причём по несколько раз.

Но я всё-таки надеюсь однажды вернуться в город Киев, ведь это русский город.

Тем более, что мы столько раз собирались это сделать с теми, кого уже нет на этой земле. Остальное у меня уже есть. А если что-то понадобится по мелочи, мне подарят.

Или, может, отнимут: как сложится.

Город Горемыка, дзержинская птица и прочие псевдонимы

На этот вопрос я отвечал бессчётное количество раз.

Безо всякого преувеличения: не сотни, а тысячи раз я слышал этот вопрос, и отвечал на него.

Сам виноват, жаловаться не на кого.

Обычно это бывает так: человек, знакомящийся со мной, вдруг начинает добродушно, но чуть хитро улыбаться, как будто знает обо мне что-то такое, что не известно никому, или известно очень ограниченному кругу лиц.

«Меня не проведёшь, мы тут справочку навели», – примерно такой вид у человека.

И он, не убирая улыбки с лица, со знанием дела задаёт вопрос: слушайте, а почему вы называли себя Захаром?

Как воспитанный человек, я не могу сказать вопрошающему то, о чём уже написал здесь выше: что примерно три или четыре тысячи раз я отвечал на этот вопрос, причём происходило это публично, в дюжине телепрограмм, в ста радиопередачах, в тысяче интервью для газет и журналов. И в паре своих книг я тоже об этом сообщил.

Но зачем, повторяю, ставить человека в неудобное положение – никто ж меня не заставлял имя менять. Сам поменял – и сам объясняйся.

Объясняюсь.

Удивительна, однако, во всей этой истории не моя привычка из раза в раз честно объясняться. Несколько озадачивает то, что вполне, казалось бы, образованные люди смотрят на сам факт наличия псевдонима как на нечто из ряда вон выходящее.

Но, друзья мои, я, к примеру, учился и долгое время жил в городе, который назывался Горький.

Имя город получил в честь величайшего мирового писателя, который подписывал свои книги: Максим Горький. Звали его на самом деле Алексей Пешков.

Я читал много текстов Горького, и, к слову сказать, не помню ни одного его интервью, где у него спрашивают: «Слушайте, а почему вы Максим, вы же Алексей? Да и фамилия у вас другая. Вы что-то скрываете?»

Для образованных людей той эпохи наличие псевдонима у литератора было вещью обыденной.

Русский дворянин, поэт, писатель, философ Андрей Белый – на самом деле Борис Николаевич Бугаев.

Сын русского портного и русской крестьянки, поэт, писатель Фёдор Сологуб – на самом деле Фёдор Кузьмич Тетерников (отец Сологуба был внебрачным сыном дворянина).

Польский шляхтич по отцовской линии и русак, внук коллежского секретаря по материнской, писатель Александр Грин – на самом деле Александр Стефанович Гриневский.

Дочка русского дворянина, писатель Тэффи – на самом деле Надежда Александровна Лохвицкая.

У поэтического кумира начала века Игоря Северянина, родившегося в семье офицера-аристократа, настоящая фамилия была – Лотарёв.

У соавтора «12 стульев» и «Золотого телёнка» Евгения Петрова – фамилия Катаев, и он тоже сын русского дворянина.

Автор «Мухи-Цокотухи» и «Доктора Айболита» Корней Иванович Чуковский – это Николай Корнейчуков. Был Коля, стал Корней, чего бы и нет. Разве какой-то Коля мог написать про Бармалея? Только Корней Иванович, не иначе.

Великий русский писатель, святой голос русского народа Андрей Платонов – на самом деле Андрей Климентов.

Автор романа «Живые и мёртвые» и стихотворения «Жди меня» Константин Симонов – тоже никакой не Константин, а Кирилл Симонов.

Симонов был бесстрашным военкором, близко общался со Сталиным, заработал пять Сталинских премий, с Брежневым так вообще пил порой ночь напролёт; он оставил очень серьёзные и глубокие мемуары, но нигде там не написано, как однажды Сталин, нацелившись в Симонова своей дымящейся трубкой, вдруг с характерным, наводящим ужас акцентом, спросил: «А почему товарищ Симонов вдруг решил поменять себе имя?»

Почему не написано? Потому что этого не было и быть не могло.

Во-первых, Сталин был начитанным и образованным человеком.

Во-вторых, он сам носил другую фамилию; равно как Ленин или Троцкий. Или Демьян Бедный, который по рождению – Ефим Придворов.

Все они были не просто профессиональными революционерами, но и пишущими людьми, и псевдонимы выбирали себе не только из конспирации, но и в силу определённой русской литературной и журналистской традиции.

Потому что началось всё это, естественно, не с Максима Горького, а куда раньше.

Скажем, современник Пушкина, писатель, декабрист и блистательный воин Александр Александрович Бестужев, подписывал свои тексты: Марлинский.

У нашего современника, поэта и увлекательного мемуариста Станислава Куняева я прочёл, что псевдонимы в русской литературе распространились в связи с нашествием литераторов из черты оседлости (поэт Саша Чёрный – на самом деле Гликберг, поэт Эдуард Багрицкий – на самом деле Дзюбин, автор Штирлица Юлиан Семёнов – на самом деле Ляндрес).

Но всё это, скорей, преувеличение. Куняев, очень уважаемый мной человек, исследователь Есенина, и сам отлично знает о том, что один из товарищей Есенина, замечательный поэт Александр Шириевец – по рождению Абрамов, что другой поэт есенинского круга – Иван Приблудный – на самом деле Яков Петрович Овчаренко, что ещё один поэтический гений и соратник Есенина – Велемир Хлебников – по паспорту был Виктором Хлебниковым, да и сам Есенин поначалу пытался публиковаться под псевдонимом Аристон.

Когда Максим Горький выбирал себе псевдоним, он хотел поначалу назваться не Горьким, а Горемыкой – это подошло бы его ранней прозе больше. Но, видимо, юный Алексей Пешков ознакомился с текущей литературной ситуацией – и вдруг выяснил, что на тот момент у нас работали, не поверите, сразу тринадцать сочинителей под псевдонимом Горемыка – в основном литераторы-народники: из бедных русских крестьянских или мещанских семей. Каждый пытался псевдонимом подчеркнуть свою несчастную долю.

Может, оно и к лучшему, что Пешков сделал иной выбор, – иначе Нижний Новгород назывался бы долгое время – город Горемыка. Вообразите себе объявление в поезде: «Железнодорожный вокзал Горемыка. Станция конечная!»

Выходить не захотелось бы.

Помимо литературной истории, у псевдонимов есть ещё и другая – музыкальная. Отчасти она позаимствована в американской и английской рок и рэп-культуре, потому что, как мы понимаем, Стинг – не совсем Стинг, Эминем – не совсем Эминем, 5 °Cent – точно не, в переводе на русский, 50 копеек, а певица Пинк – тоже не очень Пинк.

Поэтому, едва ли открою какой-то секрет, если сообщу, что отца русского панк-рока, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова звали на самом деле Игорь Летов. Что культовый рэп и рок-музыкант, фронтмен группы «25/17» Андрей Бледный – на самом деле уроженец Омска Андрей Позднухов. Что молодой, но тоже имеющий уже статус культового, рэпер Хаски – это Дмитрий Кузнецов из Улан-Удэ. Что уроженец Криворожской области Типси Тип – это Алексей Антипов. Что киевский уроженец Джанго – совсем не цыган, а русский

человек Алексей Поддубный. Что нижегородский рок-бард Полковник никаким Полковником не был, и звали его Алексей Хрынов. Что Чиж, уроженец города Дзержинска Горьковской тогда ещё области, – не птица, а великий русский блюзмен Сергей Чиграков.

К слову сказать, ещё один знаменитый уроженец Дзержинска – сочинитель Эдуард Лимон – на самом деле Эдуард Савенко.

Есть, наконец, и четвёртая составляющая у истории с псевдонимами – помимо литературной, революционной, музыкальной. А именно: военная.

Понятно, что Че Гевара – на самом деле, Эрнесто Гевара Линч; но мы сразу перейдём к нашим временам.

Имеющие уже культовый статус, вошедшие в песни и в книги, Арсен Павлов и Михаил Толстых известны миллионам именно под своими позывными – Моторола и Гиви.

С Гиви мы были просто знакомы, а с Моторолой дружили. И я вам скажу, что Арсена все, а не только однопольчане, называли «Мотор», а близкие – «Мотик». И я точно не могу себе представить, чтоб кто-то у него спросил: слушай, а что ты Мотор, Мотик, ты же Арсен?

Есть и другие примеры, но этих, думаю, достаточно.

Что до меня, то, ни в коем случае не сопоставляя себя ни с кем из вышеназванных, хочу в очередной раз объяснить. По паспорту я Евгений Николаевич Прилепин, сын Николая Семёновича Прилепина и Татьяны Николаевны Нисифоровой. Крещён был как Евгений.

Прадеда моего звали Захар Петрович Прилепин, в советские годы имя Захар было крайне редким, и оттого оно меня с самых ранних лет удивляло своим непривычным звучанием. Да и не только меня: одноклассники и друзья моего отца тоже называли его Захаром; я это слышал в детстве, был удивлён и очарован.

Поэтому, когда я работал в ОМОНе и ездил в командировки на Кавказ, я немедленно взял себе позывной «Захар».

Поэтому, когда я был оппозиционером и нацболом, я подписывал свои статьи в революционной «Лимонке» – Захар.

Поэтому, когда я создал свою музыкальную группу, и начал петь и сочинять песни, я тоже пел их и сочинял, как Захар.

Поэтому на Донбассе, где я служил заместителем командира батальона спецназа, у меня тоже был позывной «Захар».

Поэтому на обложке моих двадцати с лишним книг (и десятков их переводов на мировые языки) значится «Захар Прилепин».

Я привык к этому имени, и меня все зовут Захаром, помимо детей, которые зовут меня «папа», матери, которая зовёт меня «сын», и жены, которая не скажу, как меня зовёт.

В основе всей этой истории: русская литература, русские революционеры, русская музыка и русские полевые командиры. Ничего сложного и ничего нового.

Это вообще не стоит вопросов. Но если меня спросят ещё раз – я отвечу, мне не сложно.

Только не знаю, с какого места начать – с Горького, с Джугашвили или с Моторолы.

Впрочем, когда меня сегодня с утра спросил младший сын, который занимается футболом, отчего на поле пацаны во время тренировок или игры всегда зовут друг друга по прозвищам, когда есть имена, я вспомнил другой ответ.

Кажется, эта привычка уходит в древнейшие времена, когда охотники и бойцы брали себе второе имя, чтоб отвести удар и спастись, пока демоны ищут не его, а кого-то другого.

Кажется, в этом тоже что-то есть.

Ополченец, монах и некоторые другие

Ополченцы внешне зачастую похожи на монахов.

Сложно не обратить на это внимания.

Можно переодеть их в монашеские одеяния – и они станут, в сущности, неразличимы.

Объяснение этому – простое.

Отправляющийся на войну человек, даже предполагающий, что его минует и он останется жив, в любом случае кладёт на чашу весов самое главное, что имеет, – жизнь.

Ополченец лишает себя так называемой личной жизни: вести таковую на позициях, в сущности, невозможно.

Отсюда прекрасное определение воюющих людей стариком Хэмом: «мужчины без женщин». Очень точно. Женщины, конечно, попадают, но подавляющее большинство бойцов живёт в аскезе. Молодые, между прочим, полные сил мужики.

Ополченец, ставя жизнь на кон, первым делом лишает себя, прямо говоря, сексуальной жизни – или как минимум сурово ограничивает её, даже если это не входило в его планы.

Одновременно он лишает себя, хотя бы временно, права на продолжение рода.

Есть, конечно же, всякие исключения, но вообще большинство ополченцев – молодые ребята, не имеющие ни жён, ни детей, и в принципе не занимающиеся решением этих вопросов. Другие, даже если находятся в браке или в отношениях, жён и подруг своих не видят за их географической отдалённостью: у кого-то любимая в России, у кого-то – на Украине.

Ополченцы, как правило, не поддерживают и всех прочих семейных отношений: их матери и отцы, бабушки и дедушки, дяди, тёти, племянницы и крестники находятся где-то там, в другой жизни.

Помимо этого, ополченец лишает себя основных мирских прихотей: он не смотрит бокс, футбол и хоккей за неимением телевидения, не посещает спортивных мероприятий, городских праздников, не ходит по грибы и по ягоды, не принимает гостей, не катается на лодке по заливу, не жарит шашлыки с товарищами (если только то или иное животное не подорвётся на mine).

Ест он, как правило, одно и то же, без изысков.

С книжками, кстати, тоже проблемы: я сам за первые полгода службы в составе армии ДНР в лучшем случае дочитал одну, что ли, книгу, в то время как до переезда в Донбасс читал три книги в неделю.

То есть ограничивается и интеллектуальная жизнь: она, пожалуй, даже мешает.

Ополченец не имеет возможности посидеть вечером в кафе за интеллектуальной беседой – он проводит почти всё своё время среди себе подобных, обсуждая по большей части снабжение и питание, тактико-технические качества вооружения, в самом лучшем случае – погоду, но и то в связи со службой.

Кроме того, ополченец – как правило, хотя и не всегда, – лишает себя карьеры и прочей «вертикальной мобильности»: большинство из них теряет за годы войны многочисленные стартовые возможности – они не учатся и не строят бизнес. Они воюют. Или, в лучшем случае, ожидают очередного обострения на своём посту.

Ополченец выполняет плюс-минус одинаковые действия, связанные с физическим трудом и перенагрузками. В сущности, он лишён того, что в нынешнем мире именуется замечательным словом «комфорт». Ему почти всегда некомфортно. Тот или иной дискомфорт – его образ жизни.

Ополченец куда чаще гражданского человека теряет друзей в самом прямом смысле: эти друзья исчезают физически и навсегда. Цена его одиночества и его хандры несколько более высока, чем в мирной жизни.

Ополченец переживает другие нервные перегрузки, соприкасаясь с кровью и разрывами предметов, могущих нанести ему смертельные ранения.

Ополченец не копит, не строит свой дом, у него ничего нет – зарплата в 16 тысяч позволяет только питаться и не рассчитывать более ни на что.

Церковную – физически, признаем, утомительную – службу ополченец так или иначе воспроизводит в нарядах с их ночным бдением и своеобразной солдатской обрядностью.

Всё это он делает совершенно добровольно.

Неприязнь городской снобистской публики ко всем этим ополченцам, в сущности, ясна: для них ополченцы – антилюди, которые живут антижизнью.

При этом я вовсе не говорю, что ополченцы хороши и являются для всех примером.

Нет, равно как и монахи, они никакого примера не являют – никто не обязан, а многие и не в силах воспроизводить такой образ жизни (хотя иногда всё-таки не помешало бы).

Но определённую долю уважения всякий народ должен иметь: и к своим солдатам, и ко всем облачённым в монашеские одежды.

Смеяться и тыкать пальцем в монаха или монахиню – дурной тон, не правда ли? Называть его недоразвитым по той причине, что многие реалии современного мира для него элементарно неясны, тоже ведь не стоит?

При всём том что никакому ополченцу, равно как и монаху, не выдаётся индульгенция на пожизненный сияющий ореол над его головой.

Да он и не обязан быть хорошим для всех вас: а зачем?

Может – и должен ли – в послевоенной жизни воевавший человек остаться тем же, что и был на войне?

Нелепо этого требовать: в равной степени мы не можем ждать этого от монаха, оставившего своё монашество, или священника, не имеющего сана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.